

Предисловие автора

Повесть эта написана зимой 1830 года, в трехстах лье от Парижа; поэтому в ней и нет ни единого намека на события текущего, 1839 года.

За много лет до того, в те времена, когда наши армии проходили по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме одного каноника. Это было в Падуе, очаровательном итальянском городе. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы с ним стали друзьями.

В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я поспешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную, где я провел столько приятных вечеров, о которых часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил теперь племянник покойного с женой; они встретили меня как старого друга. Собралось еще несколько человек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племянник каноника велел принести из кофейни Педротти превосходного *zambaione**. Засиделись мы главным образом из-за того, что слушали историю герцогини Сансеверина: кто-то из гостей упомянул о ней, а хозяин ради меня рассказал ее всю полностью.

— В той стране, куда я еду, — сказал я своим друзьям, — не найти такого общества, как у вас, и, чтобы

* Гоголь-моголь (*um.*).

4 скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе этой истории повесть.

— В таком случае, — сказал племянник каноника, — я принесу вам сейчас записки моего дядюшки, где в главе, посвященной Парме, он говорит о некоторых интригах при пармском дворе, происходивших в те времена, когда там полновластно царила герцогиня. Но берегитесь! Эту историю трудно назвать назидательной, и теперь, когда у вас во Франции мода на евангельскую непорочность, она может создать вам славу настоящего убийцы.

Я публикую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности.

Во-первых, неприятность для читателя: действующие лица у меня — итальянцы, а это может уменьшить интерес к книге, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодущны и небоязливы, говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь временами, но тогда оно становится страстью, именуемой *puntiglio**. И, наконец, они не смеются над бедностью.

Вторая неприятность касается автора.

Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров, но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем наделять их высокой нравственностью и обаятельными качествами наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, являются почти полной их противополож-

* Вопрос чести (*um.*).

ностью. Впрочем, мне думается, что стоит проехать двести лье с юга на север, как все становится иным: и пейзажи и романы. Радушная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения.

23 января 1839 года

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Già mi fur dolci inviti a empir le carte
I luoghi ameni.

*Ariosto, Sat. IV**

I

Милан в 1796 году

15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая перешла через мост у Лоди, показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, свидетельницей которых стала Италия, в несколько месяцев пробудили ото сна весь ее народ; еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убегать от войск его императорского и королевского величества, — так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходявшая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.

В средние века республиканцы Ломбардии были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу в развалины. А став *верноподданными*, они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе постоянного поклонника, — иногда имя чичисбея,

* Давно уже этот милый край нежно призывал меня написать о нем. *Ариосто, IV сатира (ит.)*.

заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные неожиданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года целый народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением. Едва только последний австрийский полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия» и Вольтер взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, — совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину, без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ, некогда умевший и мыслить и быть грозой, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.

В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, которые охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Свобода нравов достигла крайних пределов, но страсти были явлением редким. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом гибели даже в здешнем,

8 земном мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии, мелкими, но довольно докучными. Так, например, эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом — торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.

В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с армией молодой миниатюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро, впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. Художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови рекой потекла пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было совсем неизвестно в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь с него сделали гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.

В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.

Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию хлынула такая могучая волна счастья

и радости, что только священники да кое-кто из дворян заметили тяжесть шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался в армии самым старым человеком. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы — изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы; недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший играть на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены; зато итальянки научили молодых французов плясать монферину, «попрыгунью» и другие народные танцы.

Офицеров по возможности расквартировали по богатым домам: им очень нужен был отдых. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, человек молодой и довольно бойкого нрава, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще эта часть одежды так кстати не приходи-

10 лась человеку. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расплзлось клочьями. Но упомянем еще более при-скорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также подобранной на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были привязаны к башмакам весьма заметными веревочками, и когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откусать с маркизой дель Донго, бедняга до смерти смутился. Вместе со своим вестовым он провел два часа, остававшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец страшная минута настала.

— Еще никогда в жизни я не был так смущен, — говорил мне лейтенант Робер. — Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, — добавил он, — была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела «Иродиада» Леонардо да Винчи, — казалось, это был ее портрет. По счастью, эта сверхъестественная красота так поразила меня, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.

Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей

роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в крепкие башмаки, да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог одним своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза в тот день — для храбрости, как она сто раз мне потом объясняла, — взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго; впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни испытаний.

Джине было тогда лет тринадцать, а на вид — все восемнадцать; она отличалась, как вы знаете, живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпение и досаду. Словом, я был в глупейшем положении: я должен был сносить презрительные взгляды — вещь для француза невозможная. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы настрадались за два года в генуэзских горах, где нас держали старые дураки генералы. Там давали нам, говорил я, три унции хлеба в день, а жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не проговорил я и двух минут, как у доброй маркизы уже заблестели на глазах слезы, и Джина тоже стала серьезной.

— Как, господин лейтенант? — переспросила она. — Три унции хлеба?

12 — Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не выдавали, и так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.

Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, свое единственное шестифранковое эю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.

Неделю спустя, — продолжал свой рассказ лейтенант Робер, — когда стало совершенно ясно, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо, из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равна его трусости, то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы».

История лейтенанта Робера походит на историю всех французов в Милане: вместо того чтобы посмеяться над нищетой этих храбрецов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.

Пора нежданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого соображения: этот народ скупал целое столетие.

Некогда при дворе Висконти и Сфорца, знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойствен-

ное южным странам. Но начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.

С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда изгнали после сражения при Кассано, повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастие, забвение всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старые нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.

Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции на нужды французской армии.

Маркиз дель Донго, раздраженный картиной такого ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. В былые времена замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, большую часть которого можно видеть из окон. Это был родовой замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; там сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда,

14 уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотой в восемьдесят футов и толщиной в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью — тридцатью лакеями, которых считал преданными слугами, вероятно, за то, что всегда осыпал их бранью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.

Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.

Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм контрибуций, которыми облагали casa del Dongo*, как говорят в Италии, и стараться уменьшить их, что вынуждало ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также с лицами незнатными, но весьма влиятельными. Между тем в семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и родовитого, но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок — вышла замуж за графа Пьетранеру. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей. Пьетранера был суб-лейтенантом

* Дом дель Донго (*um.*).